

Маска Красной Смерти

Автор:

Эдгар Аллан По

Маска Красной Смерти

Эдгар Аллан По

Horror Story (Рипол)

Эдгар Аллан По считается крупнейшим американским писателем XIX века. Его страшные рассказы, притчи и сказки удивляли и поражали современников. Невероятная фантазия автора уносит читателей в мир необыкновенных явлений и странных происшествий; его трагическое отношение к жизни заставляет задуматься над главными вопросами; ситуации, в которые он ставит героев, возможны и в наше время.

В настоящее издание вошли программные тексты великого классика, наиболее полно отражающие его уникальное мировоззрение и литературный гений.

Эдгар Аллан По

Маска Красной Смерти

© Марков А. В., вступительная статья, 2021

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021

* * *

Магистр ужаса

Эдгар Аллан По (1809–1849) – знакомый незнакомец мировой литературы. Не было писателя более американского, осуществившего саму миссию технократической Америки в литературе: открытие того, что мир становится непредсказуемым не сразу, но неминуемо, что внутренняя жизнь всегда существеннее сословной принадлежности, что приметы современности требуют не привычных эмоций, но хладнокровной числовой расшифровки. Наша французская современница, философ Барбара Кассен, удачно назвала «новой миссией Америки» разработку информационных технологий автоматического перевода, поиска, систематизации, стандартизации, записи и декодирования, но дело Эдгара По уже создавало этот новый мир информации, и его таинственные дома и подземелья предвещают темные внутренности серверов. Ведь в его рассказах нет сословий, а есть люди; нет привычных языков и диалектов, а есть коды и загадки; нет привычных бытовых сюжетов, но есть решительный шаг в непривычное. Но при этом По менее всего американский из всех американских писателей – ни один из стереотипов о жителях США, деловых, решительных, убежденных, трезвых, преданных религии и политике, к нему не подходит.

Обычно считается, что новые формы изобретают поэты, и мы знаем «сапфическую строфу» или «дантовскую терцину». Прозаик, даже если одарен богатой фантазией, все равно действует внутри устоявшейся формы – как путник, даже впервые проложивший тропу, уже уверенно идет по ней как по готовой дороге. Эдгар По был поэтом, создавшим небывалый напев «Ворона» и «Улялюм», но и как прозаик он ввел что-то, сопоставимое с поэтическими открытиями, вроде сапфической или онегинской строфы. Это сам жанр рассказа, который называется по-английски *short story*, и этим словом может быть названо далеко не всякое произведение на несколько страниц. Свойство *short story* – прежде всего, завершенность: за время рассказа происходит все, что могло произойти в этом месте. Следующим после По реформатором рассказа был Чехов, превративший эту завершенность, наоборот, в открытый вопрос, в повод задуматься, из чего состоит наша нынешняя жизнь. Но для великого американца завершенность – это схождение сюжета, мысли, событий и происшествий в одной точке, и ему важны не составляющие жизни людей, а ее способность быть здесь, вопреки всем обстоятельствам, и сказываться в портрете или взгляде кота не меньше, чем в разрозненных и заведомо неправильно понятых поступках.

«Нуар» и «детектив» – два главных понятия, которые мы из нашего времени можем подобрать для поэтики страха Эдгара По. Если другие писатели делали вечными своих героев, то По – эти два слова, которые ему не принадлежат и распространились много позже его смерти. Но он создавал не слова, а принципы: детектив – это полнота фактов, мы знаем вроде бы все и о характере, и о преступных изгибах души, о пытках и ожиданиях, планах и условиях их реализации, но завершенность и полнота действия важнее всех характеров. Нуар, мрачное описание происходящего – такая же полнота, но уже эмоций, от ужаса до недоумения, от удивленного интереса до навязчивых или ненавязчивых воспоминаний, которая вроде бы должна подавлять, но мы все равно следим за сюжетом. Поэтому сюжеты По нельзя считать просто «страшными» или «странными» – это вовсе не испуг при встрече с непривычным, а, наоборот, необходимость и в испуге увидеть лишь момент странного существования мира.

Такая поэтика Эдгара По объясняется исторически – в Европе страхи и ужасы всегда были вписаны в историю, но в какой-то момент оказалось, что древняя, классическая история не может объяснить происходящего сейчас: Наполеон мог равняться на Цезаря, но из чтения «Записок о Галльской войне» Цезаря никак нельзя было вывести ни деятельность, ни литературные труды Наполеона. Поэтому прошлое и настоящее оказывались непредсказуемыми, и потребовался исторический роман типа Вальтера Скотта или Дюма, который как бы приручает героев прошлого, делая их более понятными читателю. Но в Америке не было древней истории, наполненной призраками, о чем еще удачно сказал Гете: «Америка, тебе больше повезло, чем нашему старому континенту: у тебя нет развалин старых замков» – нет всего феодального наследия, которое романтизировать удалось только благодаря книжным бестселлерам. Поэтому в прозе По ужасы не сосредоточены в каком-то «мрачном» периоде, который можно отнести к далекому прошлому, как в европейской прозе, а распределены равномерно; ужасным может стать то, что возникает прямо сейчас, а не то, что мы отнесли к заведомо выделенной области страшных событий. Так, Ф. М. Достоевский удачно противопоставил «фантастического» Гофмана и «капризного» По – если у Гофмана мы встречаем олицетворения сил природы, которые и позволяют считать ужасы лишь эпизодами, чуть ли не случайным бредом, то у По олицетворений нет, действуют сами предметы, идеи, ситуации самым непредсказуемым образом, все решительно овеществляется благодаря его фантазии и не может быть дематериализовано.

Биографическая канва По образцово горестная: родился он в актерской семье, рано лишился родителей, был воспитан в семье довольно успешного торговца,

вместе с ней ребенком пожил несколько лет в Англии, получил классическое образование, лучшее из возможных. Поступив в Виргинский университет в 1826 году, будущий писатель изучал мировую литературу, но тогда же показал слабость характера: пристрастие к картам и алкоголю. Из-за долгов он лишился всякого благорасположения отчима, и хотя пытался восстановить свою репутацию в его глазах поэтическим творчеством, ничего не добился. Выпустив в 1827 году первый сборник стихов, он вскоре записался в армию и стал штабным писарем; с отчимом он все же потом примирился, но ни на какую долю наследства притязать не мог. В 1830 году он стал кадетом Военной академии в Вест-Поинте, но многочисленные нарушения дисциплины и дебоши никто не собирался терпеть. С 1831 года По жил в Нью-Йорке, сотрудничал с журналами, подавал свои произведения на литературные конкурсы, редактировал журналы в Нью-Йорке и Филадельфии, писал между запоями, пережил тяжкую болезнь и смерть жены, а в последние годы, когда спрос на литературные новинки упал, зарабатывал в основном лекциями.

Уже это кратчайшее изложение говорит, что По был self-made, типичным американцем, сделавшим свою судьбу, но он же показал и всю изнанку этого идеала: как быть, если невозможно все время поддерживать себя в напряжении, если интерес людей к литературе недолог, а понимания невозможно достичь даже с близкими людьми, если разорение и катастрофы возможны в любой момент? Его отличало от остальных американцев неверие в возможность реформ, убежденность, что любые политические и социальные реформы только ухудшат дело; согласиться с ним нельзя, однако можно понять, как его враждебное отношение к реформам позволяло вновь и вновь возвращаться к любимым темам в поэзии и прозе. Его великое стихотворение «Ворон», которое после публикации повторяла вся Америка, как раз об этом – повторяется не только возможное, но и невозможное, немислимое; есть не только рост достижений, но и расширение провалов, в сторону которых не хочется смотреть, но приходится.

Схема многих рассказов По простая: есть запертое пространство, причем не просто тайная комната или подвал, но место, уже деформированное временем, помещенное в тесные обстоятельства самого земного бытия, из которого нет выхода. Здесь действуют какие-то человеческие или нечеловеческие субъекты, которых охватывает безумие, и они делают это деформированное пространство еще более замкнутым; в этом вся «история». Отвлеченные понятия при этом вдруг оживают, и совесть или честь являются в виде старых вещей или домашних животных – конечно, это напоминает алкогольный делирий. Но нужно понимать, что для По психологический интерес всегда уступал историческому:

ему было интересно, в какой мере вещи, чувства, переживания могут стать носителями неотменимой истории.

По, чтобы разобраться со страхами, изобрел важнейшие особенности детективного жанра. Прежде всего, это представление о самой фигуре следователя, который не должен находиться непосредственно везде, который меньше всего похож на репортера, скорее – на ученого или чиновника, прячущего в кабинете свою гениальность. Дело было не в том, чтобы сделать этого персонажа более загадочным, а в общем духе XIX века, появлении лабораторной науки. Еще в начале XIX века химические и физические опыты ставили на публике, как часть лекционной аргументации, непосредственное применение знания и переложение его в слова, именно на этих опытах росли романтики вроде Гофмана. Но возрастающая опасность экспериментов, например со взрывчатыми веществами или возбудителями болезней, требовала перенести их в надежные лаборатории с толстыми стенами. Таким экспериментатором в литературе у нас был Л. Н. Толстой, который по сути показывал, как опасные, угловатые, решительные характеры действуют, проявляют свои скрытые свойства, при изменении параметров эксперимента, например, при переключении от «мира» к «войне» или от «семьи» к «обществу». Толстой как гений переключений и в ту, и в другую сторону, в конце концов создал страшный рассказ «Крейцера соната», уже без ужасающего антуража, но продолжающий эту лабораторную традицию. Кабинетный следователь – это образ, близкий гениям медицины и санитарии, Луи Пастеру или Александру Флемингу, спасшим миллионы жизней благодаря открытию того, как скрытые свойства заражения или обеззараживания проявляются не в силу их энергии, а в силу внешних порядков, от расселения людей до контроля питания.

Далее, мрачные рассказы По показывают, сколь часто разум попадает в собственную ловушку, следуя ложному ключу, поддаваясь эмоциям, не замечая предмета на самом видном месте. По, который иногда кажется тяжелым поздним романтиком, на самом деле мелодраматичен в лучшем смысле слова – он показывает, как разум всегда недостаточен, как картина мира, которую он выстраивает, оказывается недостоверной, и чувственная обстановка вокруг делается условием создания верной картины. По вовсе не говорил о том, чтобы отвергнуть разум и предпочесть чувства, как делали некоторые романтики, но, напротив, о том, чтобы и разум, и чувства стали вкладом в общий банк событий, лучше умеющих себя объяснить, чем можем мы с нашими речевыми средствами. Эдгар По поэтому предвосхитил главный принцип XX века, века кинематографа: понимание прямо происходящего цельного события, события как ключа ко всему происходящему. Наш великий лингвист А. А. Зализняк говорил: чтобы прочесть

новгородские берестяные грамоты, надо понимать, что в них должно было быть написано, чем жил Новгород, общую жизнь смысла, и тогда разные сокращения и ошибки сложатся в правильный текст. Можно сказать, это и есть метод Эдгара По – метод не складывающий целое из проекций, но прослеживающий, как целое уже спроецировано на наши слова, понятия и переживания.

В данное собрание включены рассказы По в переводах Константина Бальмонта и Михаила Энгельгардта, наверное, самого преданных его читателей и переводчиков. Бальмонт считал Эдгара По одним из своих братьев, прежде всего ценя его за сверхчувствительность: «И так его был чуток острый слух, / Что слышал он передвиженья света». Бальмонт выбирал для перевода тех авторов, в которых видел эту развитую чувственность, ощущение, что все вокруг живо и дышит, но По выделялся для него как предвестник символистского синэстетизма – объединения разных чувственных впечатлений в один порядок восприятия, когда вдруг передвижения света воспринимаются на слух. Эта любовь к разгадыванию не только тайн сюжета, но и таинственных знаков, едва уловимых намеков, делает переводы Бальмонта живыми и в наши дни. Энгельгардт был, наоборот, скептиком, считавшим, что человечество в ходе развития открывает новые виды жестокости, изобретает новое смертоносное оружие, и что прогресс несет с собой только войны и страдания. По для него был тонким исследователем того, как в душе появляется склонность к злу. Именно поэтому Энгельгардт лучше всех передавал эту мрачную, ужасающую сторону творчества По, с безжалостным анализом и вниманием.

Александр Марков, профессор РГГУ

Потеря дыхания

Рассказ не то Блеквудовский, не то нет

О! не дыши и т. д.

Мелодии Мура

Самое упорное бедствие уступает непреодолимому мужеству философии, как самый неприступный город – неумолимой бодрости врага. Салманассар, читаем мы в Библии, три года стоял под Самарией, и она сдалась. Сарданапал – смотри у Диодора – семь лет отсиживался в Ниневии; и все ни к чему. Троя пала в конце второго люстра; а Азот – по словам Аристея, который дает в этом честное слово благородного человека, – отворил Псамметиху ворота, продержав их на запоре пятую часть столетия.

– Ах ты, ведьма!.. Ах ты, хрычовка!.. Ах ты, чертовка! – сказал я моей жене на другое утро после нашей свадьбы. – Ах ты, колдунья!.. Ах ты, баба-яга!.. Ах ты, негодница!.. Ах ты, ушат всякой гадости!.. Ах ты, смазливая квинтэссенция всяческой мерзости! Ах ты... Ах ты... – Тут я поднялся на цыпочки, схватил ее за горло, приложил губы к ее уху и готовился изрыгнуть новый и более сильный эпитет, который, без сомнения, убедил бы мою супругу в ее ничтожестве, как вдруг, к моему крайнему изумлению и ужасу, почувствовал, что мне не передохнуть.

Фразы «я не в силах дух перевести», «не передохнуть» и т. п. весьма часто употребляются в обыкновенном разговоре. Но я никогда не слышал, чтобы такое ужасное происшествие случилось *bona fide*[1 - По правде (лат.). – Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, примеч. редактора.] и на деле. Вообразите же – если, конечно, вы одарены хоть крупицей воображения, – вообразите себе мое удивление, мой ужас, мое отчаяние.

Но мой добрый гений никогда не покидает меня. В минуты самого крайнего волнения я сохраняю чувство приличия, *et le chemin de passions me conduit* – как выражается лорд Эдуард в «Юлии», говоря о самом себе – *a? la philosophie veritable*[2 - И дорога страстей ведет меня к истинной философии (франц.)]. Я не мог в первую минуту определить вполне точно, что такое со мной случилось, но, во всяком случае, решился скрыть от жены это приключение, пока дальнейший опыт не укажет мне размеры постигшего меня бедствия. Итак, моментально заменив разъяренное и расстроенное выражение моего лица маской лукавого и кокетливого благодушия, я потрепал мою благоверную по щечке, поцеловал в другую и, не говоря ни слова (Фурии! я не мог), оставил ее, изумленную моим дурачеством, выпорхнув из комнаты легким *par de Ze?phyr*[3 - Западным ветром (франц.)].

И вот я в своем *boudoir'e*[4 - Будуаре, кабинете (франц.)] – куда благополучно добрался – ужасный образчик печальных последствий раздражительности –

живой, но с признаками мертвого – мертвый, но с наклонностями живого – существо спокойное, но бездыханное.

Да! бездыханное. Seriously говорю: мое дыхание прекратилось совершенно. Оно не могло бы пошевелить пера или отуманить поверхность зеркала. Жестокая судьба! Впрочем, за первым припадком подавляющей скорби последовало некоторое облегчение. Я убедился на опыте, что способность речи, так внезапно отнявшаяся у меня, когда я беседовал с женой, не вполне утрачена мною, и если бы в момент этого интересного кризиса я догадался понизить голос до низких горловых звуков, то мог бы еще выразить ей свои чувства. Эти звуки (горловые) зависели, как я убедился, не от воздушного тока, производимого дыханием, а от особенных спазмодических сокращений горловых мускулов.

Бросившись в кресло, я погрузился в глубокие размышления. Размышления, конечно, неутешительного свойства. Меня обуревали тысячи смутных и плаксивых фантазий, мелькнула даже мысль о самоубийстве; но характерная черта извращенной человеческой природы – отталкивать ясное и доступное ради отдаленного и двусмысленного. Так и я испугался самоубийства как ужаснейшей жестокости, между тем как пестрая кошка громко мурлыкала на ковре, а ньюфаундленд усердно визжал под столом, очевидно хвастаясь силой своих легких и издеваясь над моим бессилием.

Подавленный роем смутных опасений и надежд, я услышал наконец шаги моей жены, которая спускалась по лестнице. Убедившись, что она ушла, я с замирающим сердцем вернулся на место происшествия.

Затворив дверь на замок, я усердно принялся за поиски. Возможно, думал я, что предмет моих поисков спрятался где-нибудь в уголку или шмыгнул в какой-нибудь сундук или комод. Может быть, он имеет парообразную или даже вполне осязаемую форму. Большинство философов рассуждают совершенно не философично о многих пунктах философии. Однако же Вильям Годвин говорит в своем «Мандевилле», что «только невидимые вещи реальны», это как раз подходит к данному случаю. Не торопитесь, справедливый читатель, признавать мои утверждения чересчур нелепыми. Анаксагор, если помните, утверждал, что снег черен, и я сам убедился в справедливости его мнения.

Долго и упорно продолжал я поиски, но мизерной наградой за мою настойчивость и трудолюбие были только набор фальшивых зубов, две пары седалищных костей, глаз и пачка *billets-doux*[5 - Любовных записок (франц.).]

мистера Ветрогона к моей жене. Замечу, что это явное доказательство пристрастия моей супруги к м-ру В. не особенно огорчило меня. Миссис Выбейдух не могла не восхищаться чем-либо, совершенно непохожим на меня. Это было совершенно естественно. Я, как всем известно, при крепком и плотном сложении отличаюсь малым ростом. Мудрено ли, что жердеобразная фигура моего приятеля, при его вошедшей в поговорку долговязости, нашла достоподобную оценку в глазах миссис Выбейдух. Но вернемся к делу.

Как я уже сказал, мои поиски оказались безуспешными. Ящик за ящиком, комод за комодом, уголок за уголком были обысканы без всякого результата. Однажды, впрочем, мне показалось, что я нашел свою пропажу – именно когда, роюсь в платяном шкафу, я нечаянно разбил флакон Гранжановского Масла Архангелов, которое, кстати сказать, обладает очень приятным запахом, так что я беру на себя смелость рекомендовать его вам.

Со стесненным сердцем вернулся я свой в boudoir обдумать, каким способом обмануть мне проницательность жены, пока не улажу всего, что нужно для отъезда из страны, на что я твердо решился. Я надеялся, что под чуждым небом, среди незнакомых людей, мне удастся скрыть свое несчастье – несчастье, которое еще сильнее, чем нищета, действует на массу и навлекает на человека справедливое негодование добродетельных и счастливых. Я недолго думал. Обладая природной живостью, я повторил в уме всю трагедию «Метамора». Я припомнил, что декламация этой драмы, по крайней мере в тех местах ее, которые относятся к самому герою, вовсе не требует именно тех тонов, которых недоставало моему голосу, что в ней все время господствует монотонный низкий горловой звук.

Я начал с прогулок по берегам одного известного болота – не из подражания подобным же прогулкам Демосфена, а для своих собственных специальных целей. Вооружившись таким образом с головы до ног, я постарался убедить жену, что воспылал внезапной страстью к театру. Это удалось на диво; и вскоре я мог свободно отвечать на любой вопрос или замечание цитатами из трагедии, произнося их гробовым тоном квакающей лягушки. К довершению удовольствия, я убедился, что все места трагедии одинаково подходят для этой цели. Как водится, произнося эти тирады, я поглядывал искоса, скалил зубы, дергал коленями, дрыгал ногами, вообще проделывал всю ту мимику, которая справедливо считается принадлежностью хорошего актера. Конечно, мои знакомые поговаривали, будто на меня следует надеть смирительную рубашку, зато ни один из них не догадался, что я потерял дыхание.

Покончив наконец с делами, я рано утром уселся в почтовую карету, уверив предварительно моих знакомых, будто мне необходимо отправиться в... по важному делу.

Карета была битком набита, но в сумраке раннего утра я не мог разглядеть лица моих спутников. Не оказывая никакого сопротивления, я позволил усадить себя между двумя джентльменами колоссальных размеров, тогда как третий, еще большего объема, попросив извинения за свою вольность, навалился на меня всем телом и моментально заснул, заглушив мои гортанные вопли о помощи храпом, который заставил бы покраснеть рев быка Фалариса. К счастью, состояние моих дыхательных способностей исключало всякую возможность задушения.

Как бы то ни было, с наступлением дня, когда мы приближались к предместьям города, мой мучитель проснулся и, поправив воротничок, дружески благодарил меня за любезность. Видя, что я остаюсь без движения (все мои члены были вывихнуты и голова свернута набок), он встревожился и, разбудив остальных пассажиров, сообщил им очень решительным тоном, что, по его мнению, к ним подсунули ночью мертвеца под видом живого и правоспособного пассажира; при этом, в подтверждение своих слов, он ткнул меня в правый глаз.

После этого все, один за другим (всего было девять человек) сочли своим долгом подергать меня за ухо. Молодой, начинающий врач приложил к моим губам карманное зеркальце и, убедившись, что я не дышу, подтвердил мнение моего гонителя. Тогда все объявили, что не потерпят подобного обмана и не согласны путешествовать со всякой падалью.

Итак, меня выбросили у ворот гостиницы «Ворона» (мимо которой дилижанс проезжал в эту минуту), причем левое заднее колесо переломило мне обе руки. Я должен отдать справедливость кондуктору; он был настолько добросовестен, что выбросил самый большой из моих чемоданов, причем, к несчастью, попал мне прямо в голову и раздробил череп самым любопытным и замечательным образом.

Хозяин «Вороны», человек гостеприимный, убедившись, что содержимое моего чемодана вознаградит его за хлопоты, послал за хирургом и уступил меня ему за десять долларов.

Покупатель отнес меня к себе и немедленно принялся за операцию. Однако, отрезав мне оба уха, он заметил во мне признаки жизни. Тогда он позвонил и послал за соседним аптекарем, чтобы обсудить сообща это обстоятельство. В ожидании, что его подозрения подтвердятся, он разрезал мне живот и вынул из него различные внутренности, имея в виду исследовать их впоследствии.

Аптекарь высказал мнение, что я действительно помер. Я постарался опровергнуть это мнение самыми бешеными телодвижениями, судорогами и прыжками: дело в том, что операции хирурга до некоторой степени вернули мне власть над моим телом. Но все эти движения были приписаны действию гальванической батареи, с помощью которой аптекарь произвел ряд весьма любопытных опытов, которыми я с своей стороны крайне заинтересовался. Во всяком случае, был жестоко огорчен, убедившись, что, несмотря на все попытки заговорить, не могу даже разинуть рот; тем менее опровергнуть остроумные, но фантастические теории аптекаря, которые при других обстоятельствах я без труда разбил бы в пух и прах, так как хорошо знаком с гиппократовской патологией.

Не придя ни к какому определенному заключению, врачи решили отложить меня для дальнейших исследований. Я был перенесен на чердак; супруга врача надела на меня чулки и панталоны, а сам врач связал мне руки и стянул челюсти носовым платком, затем замкнул дверь снаружи и ушел обедать, предоставив мне размышлять в уединении.

Я вскоре с восхищением заметил, что мог бы говорить, если бы мой рот не был завязан носовым платком. Утешаясь этим соображением, я повторил про себя несколько строк из «Вездесущия Божия», что обыкновенно делал перед сном, как вдруг две кошки, алчного и подозрительного вида, выскочили из отверстия в стене, распевая арии а? la Catalani[6 - Подобно Каталани (франц.). Подразумевается Анжелика Каталани (1780–1849), выдающаяся итальянская оперная певица.], и, усевшись друг против дружки на моей физиономии, предались неприличной распре, с большим ущербом для моего носа.

Но как потеря ушей возвела на престол Кира персидского Мага, как утрата носа помогла Зопиру овладеть Вавилоном, так потеря нескольких унций физиономии спасла мое тело. Раздраженный болью и пылая негодованием, я разом порвал свои узы и повязку. Я прошелся по чердаку, бросая презрительные взгляды на дерущихся и распахнув, к их крайнему ужасу и отчаянию, ставни, ловко выбросился из окна.

В это самое время из городской тюрьмы везли на виселицу, устроенную в предместье, известного грабителя дилижансов В., который замечательно походил на меня лицом. В виду его крайней дряхлости и продолжительной болезни он был избавлен от оков и лежал в тележке палача (которая проезжала в эту минуту как раз под окнами хирурга) в виселичном костюме, очень похожем на мой, под надзором заснувшего возницы и двух пьяных рекрутов шестого пехотного полка.

Надо же было мне, выскочив из окна, попасть прямо в тележку. В., малый очень остроумный, не преминул воспользоваться удобным случаем. Вскочив на ноги, он спрыгнул с тележки и во мгновение ока исчез из виду. Рекруты, разбуженные шумом, не могли сообразить, в чем дело. Увидав человека, походившего как две капли воды на преступника и стоявшего во весь рост на тележке, они вообразили, что мошенник (подразумеваемая В.) собирается удрать (их подлинное выражение), и, сообщив друг другу свои мнения на этот счет, хватили по чарке водки, а затем сбили меня с ног прикладами ружей.

Вскоре мы прибыли на место назначения. Разумеется, никто не сказал ни слова в мою защиту. Рок судил мне виселицу. Итак, я покорился судьбе не без горечи, но в общем довольно равнодушно. Будучи немного циником по натуре, я обладал всеми чувствами собаки. Палач надел мне петлю на шею. Доска упала – я повис.

Не стану описывать свои ощущения на виселице, хотя без сомнения мог бы сообщить много интересного на эту тему, тем более что никто еще не сказал ничего путного об этом предмете. Дело в том, что изобразить чувства повешенного может лишь тот, кто был повешен. Автор может судить лишь о том, что он сам испытал. Так Марк Антоний написал трактат о пьянстве.

Замечу, во всяком случае, что я не умер. Не имея дыхания, я не мог задохнуться; и если бы не узел под моим левым ухом, я не испытывал бы ни малейшего неудобства. Правда, меня сильно дернула веревка, когда опускная доска ускользнула из под моих ног, но этот толчок только вправил мне шею, вывихнутую толстым джентльменом в дилижансе.

Во всяком случае, я не хотел разочаровать публику. Говорят, мои конвульсии были необычайны. Мои судороги были неподражаемы. Толпа кричала bis. Мужчины падали в обморок, женщин уносили в истерике. Пинксит воспользовался случаем, чтобы исправить свою удивительную картину

«Марсиас, с которого сдирают кожу заживо».

Когда я достаточно позабавил толпу, решили снять меня с виселицы, тем более что настоящий преступник был в это время пойман и признан, – факт, к сожалению, оставшийся неизвестным для меня.

Разумеется, ко мне отнеслись с большим сочувствием, и так как никто не предъявил прав на мое тело, то решено было похоронить меня в общественном склепе.

Тут меня и положили после надлежащих церемоний. Могильщик ушел, и я остался один. Стих из «Недовольного» Марстона:

Смерть хороший малый, ее дом открыт для всех...

– вспомнился мне в эту минуту и показался очевидной ложью.

Как бы то ни было, я сбросил крышку с своего гроба и вылез вон. Помещение оказалось очень сырым и мрачным, меня начинала томить скука. Чтобы развлечься, я стал прогуливаться среди гробов, расставленных кругом. Я снимал с них крышки одну за другой и предавался размышлениям о бренных останках, которые в них заключались.

– Вот этот, – говорил я, наткнувшись на распухший, одутловатый, круглый труп, – вот этот был во всех отношениях несчастный, злополучный человек. Его постигла жестокая участь: он мог ковылять, а не ходить, он брел по жизненному пути не как разумное существо, а подобно слону, не как человек, а как носорог.

Его попытки двигаться вперед терпели неудачу, а его круговращательная походка представляла жалкое зрелище. Сделав шаг вперед, он делал два вправо и два влево. Он мог читать только стихотворения Краббе. Он не имеет понятия о чудесах пируэта. Для него *pas de papillon* [7 - Музыкально-танцевальная форма в балете.] был чисто абстрактной идеей. Он никогда не взбирался на вершину горы. Он никогда не обзирал великолепную столицу с высокой башни. Жара была его смертный враг. В лучшее время года он терпел худшие муки. Ему грезилось пламя и удушливый дым – горы, нагроможденные на горы, Пелион на Оссе. Он страдал одышкой, этим все сказано. Он не признавал игры на духовых инструментах. Он изобрел самодвижущийся веер,

виндзейль и вентилятор. Он покровительствовал фабриканту мехов Дюпону и умер жалкою смертью, пытаясь затянуться сигарой. Его участь глубоко интересует меня, его судьба возбуждает мои искренние симпатии. Но здесь, продолжал я, презрительно вытаскивая из гроба длинную, сухопарую фигуру, странная наружность которой показалась мне неприятно знакомой, здесь лежит негодяй, не заслуживающий ни малейшего сожаления.

Говоря это и желая рассмотреть фигуру поближе, я взял ее за нос большим и указательным пальцами, привел в сидячее положение и держал в таком виде, продолжая свой монолог.

– Не заслуживающий, – повторил я, – ни малейшего сожаления. Кому придет в голову сожалеть о тени? К тому же разве он не воспользовался всеми благами, достаемыми на долю смертного? Он изобретатель высоких монументов, башни для литья дроби, громоотводов, пирамидальных тополей. Его трактат о «Тенях» и «Оттенках» обессмертил его. Он рано поступил в училище и изучал пневматику. Затем он вернулся домой, говорил без умолку и играл на альпийском рожке. Он поощрял игру на волынке. Капитан Барклай, который шел против времени, не решился бы пойти против него. Он умер славною смертью, вдыхая газ, *lacvique fl atu corrumpitur*[8 - Погибает от слабого дуновения (лат.)], подобно *fama pudicitiae*[9 - Известной добродетели (лат.)] Иеронима[10 - *Tenera res in feminis fama pudicitiae, et quasi fl os pulcherrimus, cito ad levem marcessit auram, levique fl atu corrumpitur, maxime etc.* – Hieronymus ad Salvinam (Деликатная вещь – добрая слава женщин, и, как прекраснейший цветок, вянет от легкого ветра, от легкого дуновения портится. – Иероним к Сальвиану). – Примеч. переводчика.]. Он был без сомнения...

– Как вы можете? Как... вы... можете? – перебил объект моих рассуждений, задыхаясь и отчаянным усилием срывая повязку, стягивающую его челюсть, – Как вы можете, мистер Выбейдух, так адски жестоко дергать меня за нос! Разве вы не видите, что у меня завязан рот, и должны же вы знать – если что-нибудь знаете, – какой у меня избыток дыхания! Если же не знаете, садитесь, увидите сами. В моем положении очень приятно развязать кому-нибудь рот – побеседовать с кем-нибудь, потолковать с господином вроде вас, который не станет прерывать рассуждений джентльмена. Перерывы несносны, их нужно запретить – не правда ли? – не отвечайте, прошу вас, – довольно одному говорить за раз. В свое время я кончу и тогда можете начать вы. За каким чертом, сударь, вы забрались в это место? Ни слова, умоляю вас! Сам попал сюда, – ужасный случай! – слышали, конечно? – страшное несчастье! – шел под

вашиими окнами – не так давно – вы тогда помешались на театре – невероятное приключение! Слышу «уловил дыхание» – придержите язык, говорят вам! – улавливаю чье-то дыхание – а у меня и своего избыток – встречаю на углу Болтуна, – дайте же сказать слово! – не могу издать звука – падаю в припадке эпилепсии. Черт побери дураков! Приняли меня за мертвого и стащили сюда, – ловкая штука, нечего сказать! – слышал все, что вы говорили обо мне, – каждое слово ложь – ужасная! – поразительная! – оскорбительная! – отвратительная! – непонятная, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera[11 - И так далее, и так далее, и так далее (лат.).].

Невозможно себе представить мое изумление при этой неожиданной речи и мою радость, когда я мало-помалу убедился, что дыхание, так удачно пойманное этим джентльменом, (в котором я не замедлил узнать моего соседа Ветрогона), было мое собственное дыхание, утерянное мною во время разговора с моей женой. Место, время и обстоятельства не оставляли сомнения на этот счет. Я, однако, не выпустил немедленно обонятельный орган мистера В-а, а продолжал держаться за него все время, пока изобретатель пирамидальных тополей достаивал меня своими объяснениями.

Поступая таким образом, я руководился благоразумием, которое всегда составляло мою отличительную черту. Я понимал, что на пути к моему спасению могут возникнуть многочисленные затруднения, для преодоления которых потребуется крайнее напряжение сил с моей стороны. Есть много людей, думаю я, склонных оценивать блага, доставшиеся на их долю – хотя бы совершенно бесполезные для них, хотя бы причинявшие им только беспокойство и огорчение, – в прямом отношении с выгодами, которые извлекут другие от приобретения этих благ или они сами, отказавшись от них. В данном случае может оказаться то же самое. Если я выражу беспокойство по поводу дыхания, от которого мистер Ветрогон рад бы был избавиться в настоящую минуту, то этим самым рискую сделаться жертвой его скупости. Есть негодяи на этом свете, подумал я со вздохом, готовые сыграть штуку даже с ближайшим соседом. К тому же (это замечание из Эпиктета) именно в то время, когда человек жаждет сбросить с себя груз бедствий, у него всего меньше охоты облегчать от подобного груза других.

Под влиянием этих соображений я продолжал держать за нос мистера В. и обратился к нему с следующей речью:

– Чудовище! – сказал я тоном глубочайшего негодования, – чудовище и вдвойне дышащий идиот! Как смеешь ты, которого небу угодно было покарать двойным дыханием, как смеешь ты обращаться ко мне с фамильярной речью старого знакомого? «Я лгу», в самом деле! И «придержите язык», конечно – прекрасные выражения, что и говорить, при обращении к джентльмену с одним дыханием! И это в то самое время, когда я могу облегчить бедствие, столь справедливо постигшее тебя, взяв на себя избыток твоего жалкого дыхания.

Подобно Бруту, я остановился в ожидании ответа, с которым мистер Ветрогон обрушился на меня точно смерч. Протест следовал за протестом, оправдание за оправданием. Не было условий, на которые бы он не соглашался, и не было условий, которыми бы я не воспользовался.

Когда наконец мы столкнулись, мой приятель передал мне дыхание, а я (тщательно рассмотрев его) выдал расписку в получении – не сейчас, а позднее.

Я уверен, что многие будут порицать меня за слишком беглый отчет о такой неосязаемой сделке. Они, без сомнения, скажут, что я должен был гораздо подробнее распространиться о происшествии, которое (с этим нельзя не согласиться) может бросить свет на многие интереснейшие отрасли естественной философии.

На это я, к сожалению, ничего не могу возразить. Я должен ограничиться намеком, не более. Были обстоятельства... но по здравом размышлении я думаю, что гораздо лучше не распространяться о деле столь деликатном, повторяю, столь деликатном и в то же время затрагивающем интересы третьего лица, ехидную злость которого я вовсе не желаю навлечь на себя.

Вскоре после нашей сделки нам удалось выбраться из подземелья. Соединенные силы наших голосов были достаточно велики. «Ножницы», орган Вига, напечатали статью о «природе и происхождении подземных шумов». Ответ, опровержение, возражение и оправдание появились на столбцах «Демократической газеты». Чтобы разрешить спор, отворили склеп, и тут появление мистера Ветрогона и меня показало, что обе стороны ошибались.

Заканчивая этот отчет о некоторых замечательных происшествиях в жизни, вообще богатой приключениями, считаю своим долгом еще раз обратить внимание читателя на достоинства той безразличной философии, которая

является вернейшим и надежнейшим щитом против бедствий невидимых, неосязаемых и не вполне понятных. Совершенно в духе этой мудрости древние евреи верили, что врата райские обязательно растворяются перед грешником или праведником, у которых достаточно хорошие легкие и довольно уверенности, чтобы крикнуть «аминь». Равным образом, когда чума опустошала Афины и все средства были перепробованы без успеха, Эпименид (по словам Лаэртца) совершенно в духе этой мудрости посоветовал воздвигнуть алтарь и храм «истинному Богу».

Литтлтон Барри

1832

Четыре зверя в одном

(Человек-жираф)

Chacun a ses vertus.

Crebillon. «Xerxes»[12 - У каждого свои добродетели. – Кребийон. «Ксеркс» (франц.). – Примеч. переводчика.]

Антиоха Эпифана общепринято рассматривать как Гога из пророчеств Иезекииля. Эта честь, однако, скорее принадлежит, собственно, Камбизу, сыну Кира. И на самом деле облик сирийского монарха отнюдь не имеет надобности в какой-либо добавочной прикрасе. Его восшествие на престол или, точнее, захват им верховной власти в сто семьдесят первом году до пришествия Христа; его попытка разграбить храм Дианы Эфесской; его неумолимая ненависть к евреям; его осквернение Святой Святынь и его жалкая смерть в Табе после одиннадцатилетнего мятежного царствования – суть обстоятельства рода выдающегося и поэтому замечаемые историками его времени более часто, чем беззакония, трусость, вероломство, нелепые и сумасбродные подвиги, что пополняют общую сумму частной его жизни и его славы.

* * *

Предположим, любезный читатель, что теперь год от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатый, и вообразим себя на несколько минут в самом гротескном обиталище человека, в достопримечательном городе Антиохии. Достоверно, что в Сирии и других странах было шестнадцать городов с таким наименованием, кроме того, на который я в особенности указываю. Но наша Антиохия слыла под именем Антиохии Эпифаны благодаря ее соседству с маленьким селением Дафна, где находился храм, посвященный этому божеству. Этот город был выстроен (хотя это и оспаривается) Селевком Никанором, первым царем страны после Александра Великого, в память его отца Антиоха, и сделался немедленно столицей сирийской монархии. В цветущие времена Римской империи здесь было обычное местопребывание префекта восточных провинций, и многие из императоров Вечного Города (среди них могут быть особенно упомянуты Вер и Валент) провели здесь значительную часть своего времени. Но я замечаю, что мы уже прибыли в самый город. Взойдем на эту крепостную стену и бросим наш взгляд на город и на окружающую его страну.

«Что это за широкая и быстрая река, что пробивает свой путь бесчисленными водопадами чрез унылость гор и, в конце концов, чрез унылость зданий?»

Это – Оронт, и это – единственная вода, видная глазу, кроме Средиземного моря, которое простирается как широкое зеркало милях в двенадцати к югу. Каждый видел Средиземное море, но позвольте мне сказать вам, что немногим пришлось заглянуть в Антиохию.

Под немногими я разумею тех немногих, которые, как вы и я, имели в то же время преимущества современного образования. Перестаньте поэтому смотреть на море и устремите все ваше внимание на громаду домов, что лежит под нами. Вы будете помнить, что год ныне от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатый. Если бы год был более поздний – если бы, например, это был тысяча восемьсот сорок пятый год от года нашего Господа, – мы были бы лишены этого чрезвычайного зрелища. В девятнадцатом столетии Антиохия находится – то есть Антиохия будет находиться – в жалостном состоянии упадка. К тому времени она будет совершенно разрушена в три различных этапа тремя последовательными землетрясениями. Действительно, правду говоря, то малое, что останется от ее первоначального положения, будет находиться в состоянии такого распада и развалин, что патриарх вынужден будет перенести свое местопребывание в Дамаск. Это хорошо. Я вижу, вы следуете моему совету и

пользуетесь вашим временем, чтобы осмотреть местность:

Потешить взор ваш

Тем памятным и славным, что ссужает

Тот город наибольшею красой[13 - В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», акт III, сцена 3. Перевод К. Бальмонта.].

Прошу прощения, я забыл, что Шекспир будет процветать не ранее как тысячу семьсот пятьдесят лет спустя. Но не должен ли вид Эпидафны оправдывать мое наименование ее гротескной?

«Она хорошо укреплена; в этом отношении она столь же обязана природе, сколько искусству».

Весьма правильно.

«Здесь изумительное множество величественных дворцов».

Это так.

«И множество храмов, пышных и великолепных, выдерживающих сравнение с наиболее прославленными храмами древности».

Все это я должен признать. Однако здесь – бесчисленность глиняных хижин и отвратительных лачуг. Нам приходится также отметить изобилие мусора в каждой конуре, и если бы не одолевающий дым идолопоклоннических курений, не сомневаюсь, мы ощутили бы самое нестерпимое зловоние. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть улицы столь невыносимо узкие или дома столь дивно высокие? Какой мрак отбрасывают их тени на землю! Счастье, что висячие лампочки среди этих бесчисленных колоннад остаются зажженными целый день; в противном случае мы пребывали бы во тьме египетской времен распада Египта.

«Это поистине странное место! Что означает то причудливое здание там? Смотрите! Оно висится над всеми другими и тянется к востоку от того, в коем я предполагаю видеть царский дворец».

Это новый Храм Солнца, которое обожаемо в Сирии под именем Эла Габала. Позднее один весьма примечательный римский император учредит это поклонение в Риме и отсюда извлечет свое прозвище Гелиогабал. Я осмелюсь заметить, вам доставит удовольствие взглянуть на божество этого храма. Нет надобности смотреть на небо: Его Величество Солнце более там не находится – по крайней мере, именно то Солнечное Величество, обожаемое сирийцами. Это божество пребывает внутри того здания. Почитаемо оно в образе некоей широкой каменной глыбы, завершающейся конусом или пирамидой, каковая знаменует собой Огонь.

«Слушайте! Смотрите! Кто могут быть те забавные существа, полуголые, с их разрисованными ликами, размахивающие руками и вопящие к черни?»

Некоторые из них суть площадные фокусники. Другие, более отличительные, принадлежат к расе философов. Наибольшая часть все же – те в особенности, что побивают народ дубинками, – суть главнейшие придворные во дворце, исполняющие, поелику это их обязанность, какую-нибудь достославную потеху царя.

«Но что такое здесь? Небеса! Город кишит дикими зверями! Что за чудовищное зрелище! Сколь опасное в особенности!»

Чудовищное, если вам угодно, но нимало не опасное. Каждое животное, если вы потрудитесь заметить, следует очень спокойно по стопам своего хозяина. Некоторые, конечно, ведомы посредством веревки вокруг шеи, но это преимущественно наиболее мелкие или робкие породы. Лев, тигр и леопард вполне вне принуждения. Обучены они были теперешнему их ремеслу без малейших затруднений и следуют за своими досточтимыми владельцами с правоспособностью *valets de chambre*[14 - Камердинеров (франц.)]. Правда, бывают случаи, когда Природа притязает на свое поприще владычества; но пожраный оруженосец или растерзанный священный бык суть обстоятельства слишком малой значительности, чтобы быть упомянутыми более чем вскользь в Эпидафне.

«Но что за чрезвычайное смятение я слышу? Достоверно, это уже громкий шум даже для Антиохии! Это свидетельствует о некоем возбуждении – интересности неповседневной».

Да, несомненно. Царь повелел учинить какое-нибудь новое зрелище – какое-нибудь гладиаторское игрище на ипподроме, или, быть может, избиение скифских пленников, или сожжение своего нового дворца, или разгром какого-нибудь красивого храма, или, наконец, праздничный костер из нескольких евреев. Суматоха растет. Взрывы хохота восходят к небу. Воздух делается кричащим от духовых инструментов и чудовищно сотрясается от вопля миллиона глоток. Спустимся вниз, из любви к забаве, и посмотрим, что произошло! Дорога здесь – осторожнее! Здесь мы находимся на главной улице, что называется улица Тимарха. Море народу приближается в этом направлении, и нам затруднительно будет пробиться через поток. Толпа простирается через всю аллею Гераклида, что проходит как раз перед дворцом – таким образом, царь, весьма возможно, находится среди беснующихся. Да, я слышу вскрики вестника, возглашающего его приближение, с пышным словотечением Востока. Нам промелькнет свет лика его, когда он будет проходить у храма Ашимы. Укроемся в преддверии святилища; сейчас он будет здесь. Тем временем рассмотрим это изображение. Что сие? О, это бог Ашима собственной своей персоной. Замечаете вы, однако, что это ни ягненок, ни козел, ни сатир. Ничего, что имело бы сходство с Паном аркадийцев. Хотя все эти облики были придаваемы – прошу прощения, будут придаваемы – учеными грядущих веков – Ашима сирийцев. Наденьте ваши очки и скажите мне, что сие есть. Что это?

«Помилуй Бог! Это обезьяна!»

Точно – павиан, но оттого его божественная суть не становится меньше. Имя его есть производное от греческого Simia[15 - Обезьяна (греч.)] – что за отменные болваны эти антиквары! Но посмотрите! Смотрите! Тот вон, простирающийся сквозь толпу маленький плут в лохмотьях. Куда он идет? Что он там горланит? Что говорит он? О! он говорит, что царь прибыл с торжеством, что он в своем парадном облачении, что он только что положил насмерть собственной своей рукой тысячу окованных израильтянских пленников. За этот подвиг оборвыш прославляет его до небес! Слушайте! сюда приближается некая орда молодцов, отличиями своими сходственных. Они сочинили латинский гимн о доблести своего царя и, идя, поют его:

Mille, mille, mille,

Mille, mille, mille,

Deccolavimus, unus homo!

Mille, mille, mille, mille dcollavimus!

Mille, mille, mille,

Vivat qui mille, mille occidit!

Tantum vini habet nemo

Quantum sanguinis effudit! [16 - Флавий Вописк говорит, что гимн, здесь приведенный, пела чернь в честь Аврелиана, во время Сарматской войны, убившего собственноручно девятьсот пятьдесят врагов. - Примеч. автора.]

Гимн этот может быть перефразирован так:

Тысячу, тысячу, тысячу,

Тысячу, тысячу, тысячу

Мы единою дланью сразили!

Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу,

Снова споемте тысячу!

Го-го! - пропоем

Долголетье царю,

Сразившему тысячу душ!

Го-го! - проревем.

Кто ж богат так вином,

Сколько крови излил он из туш!

«Слышите ли вы те трубные звуки?» Да, это царь подходит. Смотрите! народ захлебывается от восхищения и простирает ввысь свои взоры с благодарением небесам. Он идет - он пришел - вот он!

«Кто? - где? - царь? - Я не замечаю его; не могу сказать, чтобы я различал его».

Так вы, должно быть, слепы.

«Очень возможно. Все же, я не вижу ничего, кроме шумливой толпы идиотов и полоумных, что спешно простираются ниц перед гигантским жирафом и селятся удостоиться поцелуя подошвы животного. Смотрите! Зверь в точности ткнул сейчас одного из черни – и другого – и еще – и еще одного. На самом деле, я не могу удержаться от восторга перед животным за превосходное применение, которое он делает из своих ног».

Чернь действительно хороша – хотя это благородные и свободные граждане Эпидафны! Зверь, сказали вы? Остерегайтесь, чтобы вас не услышали. Разве вы не заметили, что животное имеет лицо человека?

Но, милый мой сударь, этот камелеопард есть не кто иной, как Антиох Эпифан – Антиох Славнейший, Царь Сирии и наиболее могущественный из всех самодержцев Востока! Правда, его величают иногда Антиох Эпиман, Антион Полоумный, но это потому, что не весь народ обладает способностью оценить его достоинства. Это верно также, что в настоящее время он заключен в шкуру некоего зверя и он делает все от него зависящее, чтобы сыграть жирафа; но это предназначается для большего поддержания своего царского достоинства. Кроме того, монарх – богатырского роста, и одеяние весьма идет ему, не будучи слишком велико. Мы можем, однако, удостовериться, что он не присвоил бы его себе, если бы не некоторый случай совершенно особенной торжественности. Таковым, благоволите признать, является избиение тысячи евреев. С каким верховным достоинством выступает монарх на всех четырех! Хвост его, вы замечаете, несут в воздухе две ближайшие его наложницы, Эллина и Аргелаида; и внешний его вид был бы бесконечно пленительным, если бы не его глаза навывкате, которые, конечно, выскочат вон из его головы, и странный цвет его лица, что сделался неопишум от количества вина, им поглощенного. последуем за ним к ипподрому, куда он направляется, и послушаем песню победы, которую он запекает:

Кто есть царь, кроме Эпифана?

Скажите, вы знаете?

Кто есть царь, кроме Эпифана?

Браво! Браво!

Нет царя, кроме Эпифана,

Нет – никого нет.

Итак, разрушайте же храмы,

И тушите Солнце!

Хорошо и с жаром спето! Чернь приветствует его, называя «Государь Поэтов», а также «Слава Востока», «Услада Вселенной» и «Наипримечательнейший из Камелеопардов». Они биссируют его вдохновение, и – слышите ли вы? – он снова запекает. Когда он прибудет к ипподрому, он будет увенчан поэтическим венком во предвкушение его победы на ближайших Олимпийских играх.

«Но, благой Юпитер! что это происходит в толпе позади нас?»

Сзади нас, сказали вы? О! Ах! Я понимаю. Хорошо, друг мой, что вы сказали вовремя. Бежим, заручимся надежным местом, и возможно скорее. Здесь! Укроемся под сводом этого водопровода, и я сообщу вам теперь об источнике этого смятения. Дело приняло дурной оборот, как я и предвидел. Необычайное явление камелеопарда с головою человека причинило, надо полагать, оскорбление понятиям благопристойного, вообще усвоенным дикими зверями, одомашненными в городе. Следствием был мятеж; и, как обычно в подобных случаях, никакие человеческие усилия не помогли для усмирения сволочи. Несколько сирийцев уже пожрано, но общее решение всех четвероногих, по видимости, съесть камелеопарда. «Государь Поэтов» встал потому на свои лапы, рискуя своей жизнью. Приближенные его улизнули от него в затруднении, наложницы же его последовали столь блестящему примеру. «Услада Вселенной», ты в печальном затруднении! «Слава Востока», ты в опасности быть разжеванной! Поэтому никогда еще не выглядел так жалостно твой хвост; тебя несомненно изваляют в помете, и этому нельзя помочь. Не оглядывайся же назад на неминуемое свое бесчестие, но мужайся, мощно играй ногами и ускользай на ипподром! Вспомни, что ты Антиох Эпифан – Антиох Славнейший! – и также «Государь Поэтов», «Слава Востока», «Услада Вселенной» и «Наипримечательнейший из Камелеопардов!» Небеса! какую силу быстроты ты являешь! Беги, Государь! Bravo, Эпифан! Превосходно, Камелеопард! Слава, Антиох! Он мчится! Он несется! Он летит! Как стрела из катапульты, он приближается к ипподрому. Он скачет! Он кричит! Он там! Счастливо; ибо, если бы ты, «Слава Востока», на полсекунды замедлил достигнуть ворот Амфитеатра, не осталось бы в Эпидефне ни одного самого малого медвежонка, который не поглотил бы твоих косточек. Уйдем – предпримем наше отбытие! – или мы найдем наше изнеженное современное ухо неспособным вынести невероятный рев, что сейчас начнется в ознаменование избавления царя! Слушайте! Он уже начался. Смотрите! Весь город вверх дном.

«Достоверно, что это самый населенный город Востока! Какая кишашая бездна народу! Какое смешение положений и возрастов! Какая множественность сект и народностей! Какое разнообразие одеяний! Что за Вавилон языков! Какой гул инструментов! Какая толпа философов!»

Ну, идемте, идемте же.

«Подождите одно мгновение! Я вижу захватывающую суматоху на ипподроме; что за причина ее, скажите, умоляю вас?»

Вон там? О, ровно ничего! Благородные и свободные граждане Эпидафны, будучи, как они заявляют, весьма удовлетворены правотою, мужеством и божественностью своего царя, и, кроме того, будучи очевидцами его недавнего сверхчеловеческого проворства, полагают, что они исполняют лишь свой долг, возлагая на его чело (в добавление к поэтическому венцу) венок победы в беге – венок, который, очевидно, он должен получить на празднестве ближайшей Олимпиады и который поэтому они вручают ему заранее.

1833

Знаменитость

Я великий человек (точнее, был великим человеком), хотя я не автор писем Юниуса и не Железная Маска: мое имя, если не ошибаюсь, Роберт Джонс, а родился я где-то в городе Ври Больше.

Появившись на свет Божий, я первым делом схватил себя за нос обеими руками. Моя матушка, увидев это, объявила, что я гений; мой отец прослезился от радости и подарил мне курс носологии. Я изучил его прежде, чем надел штаны.

Я рано почувствовал призвание к науке и скоро сообразил, что если только у человека имеется достаточно солидный нос, то, следуя его указаниям, нетрудно достигнуть славы. Но я не ограничивался теорией. Каждое утро я давал себе два

щелчка по носу и пропустил рюмок шесть горячительного.

Когда я вырос, мой отец пригласил меня однажды в свой кабинет.

- Сын мой, - сказал он, - какая цель твоего существования?

- Отец мой, - отвечал я, - изучение носологии.

- А что такое носология, Роберт? - спросил он.

- Сэр, - отвечал я, - это наука о носах.

- А можешь ты объяснить мне, - продолжал отец, - что такое нос?

- Нос, отец мой, - ответил я с увлечением, - весьма различно определяется различными авторами. (Тут я посмотрел на часы.) Теперь полдень или около того; до полуночи я успею изложить вам все мнения по этому вопросу. Начнем с Бартолина; по его определению, нос - это та выпуклость, тот желвак, тот нарост, тот...

- Будет, Роберт, - перебил добрый старик. - Я поражен твоими громадными знаниями, ей-Богу, поражен. (Тут он зажмурился и приложил руку к сердцу.) Поди ко мне! (Тут он взял меня за руку.) Твое воспитание можно считать законченным, пора тебе встать на ноги, и самое лучшее, если ты последуешь за своим носом - итак... (Отец спустил меня с лестницы и вытолкнул за дверь.) Итак, убирайся вон из моего дома, и да благословит тебя Бог.

Чувствуя в себе божественное предопределение, я посчитал это происшествие скорее благоприятным, чем плачевным. Я намеревался исполнить отеческое наставление. Я решил последовать за своим носом. Я тут же дал ему два-три щелчка, а затем написал памфлет о носологии.

Весь наш народ Ври Больше пришел в волнение.

- Изумительный гений! - сказал Quarterly.

- Превосходный физиолог! - сказал Westminster.

- Тонкий ум! – сказал Foreign.

- Прекрасный писатель! – сказал Edinburgh.

- Глубокий мыслитель! – сказал Dublin.

- Великий человек! – сказал Bentley.

- Божественный дух! – сказал Frazer.

- Из наших! – сказал Blackwood[17 - Автор перечисляет названия газет и журналов: «Ежеквартальный», «Вестминстер», «Иностранный», «Эдинбург», «Дублин», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд».]

- Кто бы это мог быть? – сказала миссис Синий Чулок.

- Кто бы это мог быть? – сказала толстая мисс Синий Чулок.

- Кто бы это мог быть? – сказала тоненькая мисс Синий Чулок.

Но я знать не хотел этих господ – я прямо направился в мастерскую художника.

Герцогиня Ах-Боже-Мой позировала, маркиз Так-И-Так держал ее пуделя, граф И-То-И-Се подносил ей флакончик с солью, а его королевское высочество Не-Тронь-Меня прислонился к спинке ее стула.

Я подошел к художнику и вздернул нос.

- О, какая прелесть! – вздохнула ее светлость.

- О Господи! – прошептал маркиз.

- О, безобразие! – простонал граф.

- О, чудовище! – проворчал его королевское высочество.

- Сколько вы за него возьмете? – спросил художник.
- За его нос! – воскликнула ее светлость.
- Тысячу фунтов, – сказал я, садясь.
- Тысячу фунтов! – повторил художник задумчиво.
- Тысячу фунтов! – подтвердил я.
- С ручательством? – спросил он, поворачивая нос к свету.
- Да, – отвечал я, высморкавшись.
- Это настоящий оригинал? – спросил художник, почтительно прикасаясь к моему носу.
- Хе! – отвечал я, скрутив нос набок.
- Не было ни одного снимка? – продолжал художник, рассматривая его в лупу.
- Ни одного, – отвечал я, задрав нос еще выше.
- Удивительно! – воскликнул он, пораженный изяществом этого маневра.
- Тысячу фунтов! – сказал я.
- Тысячу фунтов? – сказал он.
- Именно! – сказал я.
- Тысячу фунтов! – сказал он.
- Ни более, ни менее! – сказал я.

– Вы их получите! – сказал он. – Хороший экземпляр.

И тут же выдал мне чек и срисовал мой нос. Я нанял квартиру на Джермен-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом обонятельного органа. Повеса принц Уэльский пригласил меня на обед. Мы собрались – все львы, все recherches[18 - Изысканные люди (франц.)].

Был тут современный Платоник. Он цитировал Порфирия, Ямвлиха, Плотина, Прокла, Гиерокла, Максима Тирского и Сирийского.

Был тут сторонник идеи человеческого прогресса. Он цитировал Тюрго, Прайса, Пристлея, Кондорсе, Сталь и «Честолюбивого студента со слабым здоровьем».

Был тут сэр Положительный Парадокс. Он объявил, что все дураки были философами и все философы – дураками.

Был тут Эстетикус Этике. Он говорил об огне, единстве и атомах; о двойственной и предсуществовавшей душе; о сродстве и разъединении; о первичном уме и гомеомерии.

Был тут Теологос Теолог. Он толковал о Евсевии и Арии; о ересь и Никейском соборе; о пюзеизме и субстанциализме; о гомузиос и гомойузиос.

Был тут Фрикасе из Rocher de Cancale[19 - Роше де Канкаль – известный французский ресторан. Далее перечислены французские названия разных блюд.]. Он рассказывал о цветной капусте с соусом veloute; о телятине а? la St. Menehoult; о маринаде a la St. Florentin; об апельсинном желе en mozai'ques.

Был тут Бибулюс О'Полштоф. Он распространялся о Латуре и Маркобруниен, о Мюссе и Шамбертене, о Ришбур и Сен-Жорж, о Гобрионе, Лионвилле и Медоке, о Бараке и Преньяке, о Грав, о Сотерне, о Лафите, о С-т Перэ. Он покачивал головой, смакуя кло де-вужо, и отличал с закрытыми глазами херес от амонтильядо.

Был тут синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он рассуждал о Чимабуэ, Арпино, Карпаччио и Аргостино, о сумрачном тоне Караваджо, о грации Альбано, о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и о шалостях Яна Стина.

Был тут ректор местного университета. Он высказал мнение, будто луна называлась Бендис во Фракии, Бубастис в Египте, Дианой в Риме и Артемидой в Греции.

Был тут турецкий паша из Стамбула. Он не мог себе представить ангелов иначе, как в виде лошадей, петухов и быков, и полагал, что на шестом небе есть некто с семью тысячами голов; земля покоится на корове небесно-голубого цвета с бесчисленными рогами.

Был тут Дельфинус Полиглот. Он рассказал нам, какая судьба постигла восемьдесят три потерянные трагедии Эсхила; пятьдесят четыре речи Исея; триста девяносто один спич Лизия; сто восемьдесят трактатов Теофраста; восемь книг о конических сечениях Аполлония; гимны и дифирамбы Пиндара и сорок пять трагедий Гомера Младшего.

Был тут Фердинанд Фиц-Фоссилиус Полевой Шпат. Он сообщил нам об огненно-жидком ядре и третичной формации; газообразном, жидком и твердом; о кварце и мергеле; о шифере и шерле; о гипсе и трапе; об извести и тальке; о порфире и мелафире; о слюдяном сланце и пуддинговом камне; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и обо всем остальном.

Был тут я. Я говорил о себе – о себе, о себе, о себе, – о носологии, о моем памфлете и о себе. Я задрал нос кверху и говорил о себе.

– Поразительно умный человек! – сказал принц.

– Удивительно! – подхватили гости.

А на другое утро ее светлость Ах-Боже-Мой явилась ко мне с визитом.

– Будете вы у Альмака, милое создание? – сказала она, ущипнув меня за подбородок.

– Честное слово, – сказал я.

– С носом? – спросила она.

- Непременно, - отвечал я.

- Так вот карточка, жизнь моя. Могу я сказать, что вы будете?

- Дорогая герцогиня, с радостью.

- Э, нет! Лучше с носом.

- И его захвачу, радость моя, - сказал я, повел им туда-сюда и очутился у Альмака.

Комнаты были битком набиты.

- Он идет! - крикнул кто-то на лестнице.

- Он идет! - крикнул другой.

- Он идет! - крикнул третий.

- Он пришел! - воскликнула графиня. - Он пришел, мой ненаглядный!

И, схватив меня крепко обеими руками, она трижды чмокнула меня в нос.

Это вызвало сенсацию.

- Diavolo[20 - Дьявол (итал.)]! - воскликнул граф Каприкорнутти.

- Dios guarda[21 - Храни Господь (исп.)]! - проворчал дон Стиллетто.

- Mille tonnerres[22 - Тысяча громов (франц.)]! - крикнул принц де-Гренуиль.

- Tousand Teufel![23 - Тысяча чертей (нем.)]- пробурчал электор Блудденнуфф.

Этого я не мог вынести. Я рассердился. Я обратился к Блудденнуффу:

- Милостивый государь! – сказал я. – Вы павиан!

- Милостивый государь! – возразил он после некоторого размышления. – Dormer und Blitzen[24 - Гром и молния (нем.)].!

Больше ничего не требовалось. Мы обменялись карточками. На другое утро я отстрелил ему нос, а затем отправился к своим друзьям.

- Bete[25 - Скотина (франц.)].! – сказал первый.

- Дурак! – сказал второй.

- Олух! – сказал третий.

- Осел! – сказал четвертый.

- Простофиля! – сказал пятый.

- Болван! – сказал шестой.

- Убирайся! – сказал седьмой.

Я огорчился и пошел к отцу.

- Отец, – сказал я, – какая цель моего существования?

- Сын мой, – отвечал он, – изучение носологии, как и раньше; но, попав электору в нос, ты промахнулся. Конечно, у тебя прекрасный нос, но у Блудденнуффа теперь совсем нет носа. Ты провалился, а он стал героем дня. Бесспорно, знаменитость льва пропорциональна длине его носа, но Бог мой! Возможно ли соперничать с львом совершенно безносом?

Свидание

Подожди меня там! Я встречу с тобой в этой мрачной долине.

Эпитафия на смерть жены Генри Кинга, епископа Чичестерского

Злополучный и загадочный человек! Ослепленный блеском собственного воображения и сгоревший в огне своей страстной юности! Снова твой образ встает в мечтах моих! Снова я вижу тебя – не таким, – о, не таким, каким витаешь ты ныне в холодной долине теней, а каким ты бы должен был быть, коротая жизнь в роскошных грезах в этом городе смутных призраков, в твоей родной Венеции – счастливом Элизуме моря, – чьи дворцы с глубокой и скорбной думой смотрятся широкими окнами в безмолвные таинственные воды. Да! Повторяю – каким ты бы должен был быть. Конечно, есть иные миры, кроме нашего, – иные мысли, кроме мыслей толпы, – иные доводы, кроме доводов софиста. Кто же решится призвать тебя к ответу? Кто осудит часы твоих грез и назовет бесплодной тратой жизни занятия, в которых только прорывался избыток твоей неукротимой воли?

Это было в Венеции, под аркой Ponte dei Sospiri[26 - Моста Вздохов (итал.)], – я в третий или четвертый раз встретил здесь того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но помню я – ах! могу ли забыть? – глубокою полночь, мост Вздохов, красоту женщины и Гений Романа, носившийся над узким каналом.

Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пиацце пробили пять часов итальянского вечера. Сад Кампанильи опустел и затих, почти все огни в старом Дворце Дожей погасли. Я возвращался домой с Пиацетты по Большому каналу. Но когда моя гондола поравнялась с устьем канала Св. Марка – дикий, истерический, протяжный женский вопль внезапно раздался среди ночной тишины. Пораженный этим криком, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его было невозможно в этой непроглядной тьме, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте направляется из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному коршуну, мы тихонько скользили к мосту Вздохов, когда тысяча огней, загоревшихся в окнах и на лестницах Дворца Дожей, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый неестественный день.

Ребенок, выскользнув из рук матери, упал из верхнего окна высокого здания в глубокий и мутный канал. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровище, которое – увы! – можно было найти только в пучине вод. На черных мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, не мог бы забыть. То была маркиза Афродита – кумир Венеции, – воплощенное веселье, – красавица красавиц, – молодая жена старого интригана Ментони и мать прекрасного ребенка, первого и единственного, который теперь в глубине мрачных вод с тоской вспоминал о ласках матери и тщетно пытался произнести ее имя.

Она стояла одна. Маленькие, босые, серебристые ножки ее блестели на черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, обвивали ее классическую головку, как завитки молодых гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой, прозрачной ткани, по-видимому, составляло ее единственную одежду; но знойный, тяжелый, летний воздух был спокоен, и ни единое движение тела, подобного статуе, не шевелило складок этого легкого, как пар, платья, падавших вокруг нее, как тяжелые мраморные одежды вокруг Ниобы. И – странное дело! – огромные, сияющие глаза ее не были обращены вниз, к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, – они устремились в совершенно другом направлении. Я думаю, что тюрьма Старой Республики – величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задышалось внизу, под ногами ее? Та темная мрачная ниша против окон комнаты – что могло быть в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах, – чего маркиза ди Ментони не видала уже тысячи раз? Нелепость! Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения скорби своей и видят в бесчисленных отдаленных пунктах горе, которое здесь, под рукой?

На много ступеней выше маркизы, под аркой водопровода, виднелась сатиropодобная фигура самого Ментони. Он брэнчал на гитаре, когда случилось это происшествие, и казался до смерти еппиуе[27 - Расстроенным (франц.)], указывая в промежутках игры, где искать ребенка. Ошеломленный, испуганный, я не мог пошевелиться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, бледный и неподвижный, плыл на нее в своей траурной гондоле.

Все усилия оставались тщетными. Уже большинство самых сильных пловцов прекратило поиски, покоряясь угрюмому року. Казалось, уже мало надежды остается для ребенка (во сколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, выступила в полосу света фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю высокого спуска и ринулась в канал. Минуту спустя он стоял на мраморных плитах перед маркизой с ребенком – еще живым и не потерявшим сознания – на руках. Промокший плащ свалился к ногам его и обнаружил перед взорами изумленных зрителей изящную фигуру юноши, чье имя гремело тогда в Европе.

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обовьет его милое тело и покроет его бесчисленными поцелуями. Увы! Другие руки приняли ребенка – другие руки подняли и унесли, незамеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожали; слезы стояли в глазах ее, глазах, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа – «нежные и почти жидкие». Да! слезы стояли в ее глазах и вот – женщина очнулась, и статуя ожила. Бледное мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной румянца неудержимого; и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как тихий ветерок Неаполя пышную серебристую лилию в траве.

Почему бы могла она покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца она забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Какой еще причиной возможно объяснить этот румянец? Блеск этих испуганных глаз? Необычайное волнение трепещущей груди? Судорожное стискивание дрожащей руки? Руки, которая случайно опустилась на руки незнакомца, когда Ментони ушел во дворец? Какой же другой причиной можно объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощанье? «Ты победил, – сказала она (если только не обманул меня ропот вод), – ты победил – через час после восхода солнца мы встретимся!»

* * *

Смятение прекратилось, огни во дворце угасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, глаза его искали гондолу. Я предложил ему свою, он вежливо принял предложение. Доставши весло у шлюза, мы отправились к его квартире. Он быстро овладел

собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в очень сердечных выражениях.

Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. К числу их принадлежит личность незнакомца – буду называть его этим именем. Росту он был скорее ниже, чем выше среднего, хотя в минуты страстного волнения его тело положительно расширялось и не подходило под мое определение. Легкая, почти хрупкая фигура его обещала скорее энергию, какую он проявил у моста Вздохов, чем геркулесовскую силу, образчики которой, однако, он, как известно было, не раз проявлял без всякого усилия в более опасных случаях. Божественный рот и подбородок, удивительные, дикие, большие, влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого карего до блестящего черного цвета, густые вьющиеся черные волосы, из-под которых сверкал ослепительно белый лоб необычайной ширины, – такова его наружность. Такого классически правильного лица я не видывал, – разве только на изваяниях императора Коммода. Тем не менее наружность его была из тех, какие каждому случалось встречать хоть раз в жизни и затем уже не видеть более. Она не отличалась каким-либо особенным, преобладающим, бьющим в глаза выражением, которое врезается в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но, и забыв, не могли отделаться от смутного неотвязного желания восстановить его в своей памяти. Нельзя сказать, чтобы игра страстей не отражалась в каждую данную минуту в зеркале этого лица; но, подобно зеркалу, оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти. Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, по-видимому очень настойчиво, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо – одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала по соседству с Риальто. Меня провели по широкой, витой, мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой ослепила и ошеломила меня.

Я знал, что мой знакомый богат. О его состоянии ходили слухи, которые я считал смешным преувеличением. Но, глядя на его палаццо, я не мог поверить, чтобы у кого-либо из подданных в Европе нашлось достаточно средств на царское великолепие, которое сияло и блистало кругом.

Хотя солнце уже взошло, но комната была ярко освещена. По этому обстоятельству, равно как и по утомленному виду моего друга, я заключил, что в эту ночь он не ложился. В архитектуре и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился о вкусе в

художественном смысле слова, ни о сохранении национального стиля. Взоры переходили с предмета на предмет, не задерживаясь ни на чем – ни на grotesques[28 - Гротеске (франц.)] греческих живописцев, ни на скульптурах лучших итальянских времен, ни на тяжелых изваяниях запустевшего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой невидимой музыки. Голова кружилась от смеси разнообразных благоуханий, поднимавшихся из странных витых курильниц, вместе с мерцающими трепетными языками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли эту сцену сквозь окна, состоявшие из цельных малиновых стекол. Отражаясь бесчисленными струями от завес, падавших с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, волны естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный, золотистый ковер.

– Ха! ха! ха!.. Ха! ха! ха! – засмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на оттоманку. – Я вижу, – прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, – я вижу, что вас поражает мое помещение... мои статуи... мои картины... моя прихотливость в архитектуре и обстановке!.. Вас опьяняет роскошь моя. Но простите, дорогой мой (тут он заговорил самым сердечным голосом), простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно. Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен смеяться или умереть. Умереть, смеясь, – вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор... прекрасный человек был сэр Томас Мор... сэр Томас Мор, если помните, умер, смеясь. И в «Absurdities»[29 - «Абсурдности» (1519) – сочинение французского гуманиста Равизия Текстора (ок. 1480–1524).] Равизиуса Текстора приведен длинный список лиц, кончивших такой же славной смертью. Знаете, – продолжал он задумчиво, – в Спарте (нынешняя Палеохори), в Спарте, на запад от цитадели, в груде едва видных развалин, есть камень в роде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы Л, А, З, М. Без сомнения, это остаток слова ГЕЛАЗМА[30 - Смех (греч.)]. Теперь известно, что в Спарте были тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств! Как странно, что храм Смеха пережил все остальные! Однако в настоящую минуту, – при этих словах движение и голос его странно изменились, – я не имею права забавляться на ваш счет. Европа не в силах произвести что-либо прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы – те просто верх модного безвкусыя. Это лучше моды – не правда ли? Но стоит показать эту обстановку, чтобы она произвела фурор, то есть среди тех, кто может устроить такую же ценой всего своего состояния. За единственным исключением, вы единственный человек, кроме меня и моего valet[31 - Камердинера (франц. и англ.)], посвященный в тайны этого царского чертога, с тех самых пор, как он устроен.

Я поклонился в знак признательности, так как подавляющее впечатление великолепия, благоуханий, музыки и неожиданная странность приема и манер хозяина помешали мне выразить мое мнение в виде какой-нибудь любезности.

– Вот, – продолжал он, вставая, опираясь на мою руку и обводя меня вокруг комнаты, – вот картины от Греков до Чимабуэ и от Чимабуэ до наших дней. Как видите, многие из них выбраны без справок с мнениями эстетики. Вот несколько chefs-d'oeuvres[32 - Шедевров (франц.)] неведомых талантов, вот неоконченные рисунки людей, прославленных в свое время, чьи имена проницательность академиков предоставила безвестности и мне. Что вы скажете, – прибавил он, внезапно обернувшись ко мне, – что вы скажете об этой Мадонне?

– Это настоящий Гвидо, – отвечал я со свойственным мне энтузиазмом, так как давно уже обратил внимание на чудную картину. – Настоящий Гвидо! Как могли вы достать ее? Бесспорно, она то же в живописи, что Венера в скульптуре.

– А! – сказал он задумчиво. – Венера, прекрасная Венера? Венера Медицейская? Она в уменьшенном виде и с золотистыми волосами. Часть левой руки (здесь голос его понизился до того, что стал едва внятным), и вся правая реставрированы, и в кокетливом движении правой руки – квинтэссенция жеманства. Аполлон тоже копия – в этом не может быть сомнения, – я, слепой глупец, не могу оценить хваленого вдохновения Аполлона. Я предпочитаю – что делать? – предпочитаю Антиноя. Кто это – Сократ, кажется, – заметил, что скульптор находит свое изваяние в глыбе мрамора. В таком случае Микель Анджело только повторил чужие слова, сказав:

Non ha l'ottimo artista aloun concetto

Che un marmo solo in se non circonscriva[33 - Нет у лучшего художника такого замысла, которого бы не скрывал в себе сам мрамор. – Примеч. переводчика.].

Замечено или следует заметить, что манеры истинного джентльмена всегда отличаются от манер вульгарных людей, хотя не сразу можно определить, в чем заключается различие. Находя, что это замечание вполне прилагается к внешности моего незнакомца, я почувствовал в это достопамятное утро, что замечание еще более подходит к его моральному темпераменту и характеру. Я

не могу определить духовную черту, так резко отличавшую его от прочих людей, иначе как назвав ее привычкой к упорному и сосредоточенному мышлению, сопровождавшему далее его обыденные действия, вторгавшемуся в шутки его и переплетавшемуся с порывами веселья – как те змеи, что расползаются из глаз смеющихся масок на карнизах Персеполиса.

Я не мог не заметить, однако, в быстром разговоре его, то шутливым, то торжественном, какой-то внутренней дрожи, нервного волнения в речах и поступках, беспокойного возбуждения, которое осталось для меня совершенно непонятным и по временам тревожило меня. Нередко остановившись в середине фразы и, очевидно, позабыв ее начало, он прислушивался с глубоким вниманием, точно ожидал какого-нибудь посетителя, или внимал звукам, раздававшимся только в его воображении.

В одну из таких минут рассеянности или задумчивости я развернул прекрасную трагедию поэта и ученого Полициана «Orfeo» (первая национальная итальянская трагедия), лежавшую подле меня на оттоманке, и попал на место, подчеркнутое карандашом. Это было заключение третьего акта, заключение, хватающее за душу, которого ни один мужчина не прочтет без волнения, ни одна женщина – без вздоха. Вся страница была испятнана слезами, а на противоположном чистом листке я прочел следующие английские стихи, написанные почерком, до того непохожим на своеобразный почерк моего знакомого, что я с трудом мог признать его руку:

«Ты была для меня всем, моя любовь, о чем томилась душа моя. Зеленый остров в море, любовь моя, источник и алтарь, обвитый чудесными цветами и плодами, – и все цветы были мои».

«О, мечта слишком яркая. О, ослепляющая надежда, восставшая на мгновение, чтобы исчезнуть. Голос будущего зовет: „Вперед!“ но к прошлому (мрачная бездна) прикован дух мой – неподвижный, безгласный, подавленный ужасом!»

«Увы! для меня угас свет жизни. Никогда... никогда... никогда... (говорит величавое море прибрежным пескам) не расцветет пораженное молнией дерево, не воспарит раненный насмерть орел».

«Теперь дни мои превратились в бред, а мои ночные грезы – там, где сверкают черные глаза твои, где ступают ножки твои, в воздушных плясках под небом

Италии! Увы! будь проклят день, когда ты ушла от любви к сановной старости и преступлению на недостойное ложе, – ушла от меня, из нашей туманной земли, где роняют слезы серебристые ивы».

Что стихи были написаны по-английски – я не знал, что автор знаком с этим языком, – меня ничуть не удивило. Он был известен своими обширными познаниями, которые всячески старался скрыть, так что удивляться было нечему; но меня поразила дата, отмеченная на листке. Стихи были написаны в Лондоне, потом дата выскоблена, однако не так чисто, чтобы нельзя было разобрать. Я говорю, что обстоятельство это поразило меня, потому что я помнил ясно один наш прежний разговор. Именно на мой вопрос – встречался ли он в Лондоне с маркизой Ментони (она провела в этом городе несколько лет до замужества)? – мой друг ответил, что ему никогда не случалось бывать в столице Великобритании. Замечу кстати, что я не раз слышал (хотя и не придавал веры такому невероятному утверждению), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по воспитанию англичанин.

– Тут есть одна картина, – сказал он, не заметив, что я развернул трагедию, – тут есть одна картина, которой вы еще не видали.

С этими словами он отдернул занавес и я увидел портрет во весь рост маркизы Афродиты.

Человеческое искусство не могло бы с большим совершенством передать эту нечеловеческую красоту. Я увидел тот же воздушный образ, что стоял передо мною в прошлую ночь на ступенях дворца Дожей. Но в выражении лица озаренного смехом, сквозила (непонятная странность!) чуть заметная скорбь, неразлучная с совершенством прелести. Правая рука лежала на груди, левая указывала вниз на какую-то необычайной формы урну. Маленькая прекрасная нога чуть касалась земли, а в искрящейся атмосфере, оттенявшей ее красоту, светилась едва заметная пара крыльев. Я взглянул на моего друга, и выразительные слова Чепмана в «Bussy d'Ambois»[34 - Речь идет о трагедии Джорджа Чепмена (1559[?]-1634) под названием «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607), посвященной интригам при дворе Генриха III.] задрожали на моих губах:

«Вот он стоит, подобно римской статуе! И будет стоять, пока смерть не превратит его в мрамор!»

– Вот что, – сказал он наконец, обернувшись к столу из массивного серебра, украшенного финифтью, на котором стояли фантастические чарки и две большие этрусские вазы такой же странной формы, как изображенная на картине, и наполненные, как мне показалось, иоганнисбергером. – Вот что, – сказал он отрывисто, – давайте-ка выпьем. Еще рано, но что за нужда – выпьем. Действительно, еще рано, – продолжал он задумчивым голосом, когда херувим с тяжелым золотым молотом прозвонил час после восхода солнца, – действительно, еще рано, но что за беда, выпьем! Совершим возлияние солнцу, которое эти пышные лампы и светильники так ревностно стараются затмить!

И, чокаясь со мною, он выпил один за другим несколько бокалов.

– Грезить, – продолжал он, возвращаясь к своей обычной манере разговаривать, – грезить всегда было моим единственным занятием. Вот я и устроил для себя царство грез. Мог ли я устроить лучшее в сердце Венеции? Вы видите вокруг себя сбор всевозможных архитектурных украшений. Чистота ионийского стиля оскорбляется допотопными фигурами, и египетские сфинксы лежат на золотых коврах. Но эффект слишком тяжел лишь для робкого духом. Особенности места, а тем более времени, – пугала, которые отвращают человечество от созерцания великолепного. Для меня же нет убранства лучшего. Как пламя этих причудливых курильниц, душа моя трепещет в огне, и безумие убранства подготавливает меня к диким видениям в стране настоящих грез, куда в отхожу теперь.

Он остановился, опустил голову на грудь и, по-видимому, прислушивался к неслышному для меня звуку. Потом выпрямился, взглянул вверх и произнес слова епископа Чичестерского:

«Подожди меня там! Я встречу с тобой в этой мрачной долине!»

Затем, побежденный силой вина, упал на оттоманку.

Быстрые шаги послышались на лестнице, и кто-то сильно постучал в дверь. Я поспешил предупредить тревогу, когда паж Ментони ворвался в комнату и произнес, задыхаясь от волнения:

– Госпожа моя! Госпожа моя! Отравилась! Отравилась! О прекрасная, о прекрасная Афродита!

Пораженный, я кинулся к оттоманке, чтобы разбудить спящего. Но члены его оцепенели, губы посинели, огонь лучезарных глаз был потушен смертью. Я отшатнулся к столу – рука моя упала на треснувший и почерневший кубок, – и ужасная истина разом уяснилась моему сознанию.

1835

Тень

Притча

Истинно! хотя я иду по долине Тени.

Псалом Давида

Вы, читающие, еще среди живых, но я, пишущий, давно уже переселился в область теней. Ибо странные вещи случатся и многие тайны откроются и немало веков пройдет, прежде чем эти записки попадут на глаза людей. И, увидев их, иные не поверят мне, другие усомнятся и лишь немногие задумаются над буквами, которые я вырезаю стальным резцом.

Этот год был годом ужаса и чувств более сильных, чем ужас, для которых нет названия на земле. Ибо явилось много чудес и знамений, и повсюду, над землей и морем, чума широко развернула свои черные крылья. А для сведущих в языке звезд небо ясно гласило о бедствии; и в числе прочих я, грек Ойнос, видел, что мы приближаемся к возвращению того семьсот девяносто четвертого года, когда планета Юпитер у входа в созвездие Овна соединяется с красным кольцом страшного Сатурна. Особенное состояние небес, если не ошибаюсь, отразилось не только на физическом мире, но и в душах, воображении и мыслях человечества.

Раз ночью мы сидели всемером в славном чертоге мрачного города Птолемаиды вокруг сосудов с багряным хиосским вином, и в комнате нашей не было другого

входа, кроме высокой бронзовой двери; а дверь эту сработал художник Коринн с редким искусством, и была она заперта изнутри. Также и черные занавеси в этой угрюмой комнате скрывали от нас луну, бледные звезды и безлюдные улицы; но не могли они удалить от нас воспоминание и предчувствие беды. Нас окружали явления, о которых я не могу дать ясного отчета – явления материальные и духовные – тяжелая атмосфера – чувство удушья – тоска, – а главное, то страшное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства обострены и деятельны, а душевные способности дремлют. Смертная тяжесть отяготела над нами. Отяготела над нашими членами – над убранством комнаты – над кубками, из которых мы пили; давила и пригнетала к земле все, кроме огней семи железных светильников, озарявших наше пиршество. Вытягиваясь длинными тонкими языками света, они горели бледным и неподвижным пламенем, и в отблеске их на круглом эбеновом столе, за которым мы сидели, каждый из нас различал бледность своего лица и беспокойный блеск опущенных глаз собутыльников. И все-таки мы хохотали и веселились – истерическим весельем; и пели песни Анакреона – безумные песни; и упивались вином – хотя его багряный оттенок напоминал нам кровь. Ибо в комнате был еще один гость в лице молодого Зоила. Мертвый, в саване, он лежал распростертый, – гений и демон всей сцены. Увы! он не принимал участия в нашем пиршестве, и только лицо его, искаженное болезнью, и глаза, в которых смерть не угасила еще пламя чумы, точно следили за нами, участвуя в нашем веселье, насколько мертвые могут принимать участие в веселье тех, кто должен умереть. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза покойника устремлены на меня, я старался не понимать их горького выражения и, упорно глядя в глубину эбенового зеркала, громким и звучным голосом распевал песни теосца. Но мало-помалу мои песни замерли, и их отголоски, раздававшиеся среди черных занавесей, затихли, заглохли и умолкли. И вот, из этих черных завес, где исчезли последние отзвуки песен, выступила мрачная, неопределенная тень, подобная той, которую отбрасывает от человека луна, когда стоит низко над горизонтом, но это не была тень человека, ни бога, ни какого либо известного существа. И, проскользнув вдоль занавесок, она встала наконец во весь рост на поверхности бронзовой двери. Но тень была смутная, бесформенная, неопределенная, и не была это тень человека или бога – ни бога греческого, ни бога халдейского, ни бога египетского. И тень оставалась на бронзовой двери, под аркой карниза, и не двигалась, и не произносила ни слова, но стояла неподвижно. А дверь, на которой остановилась тень, если память меня не обманывает, возвышалась против ног юного Зоила, над его телом, закутанным в саван. Но мы, семеро собутыльников, видевшие, как тень выходила из занавески, не смели взглянуть на нее пристально и, опустив глаза, упорно вглядывались в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, пробормотал вполголоса несколько слов, спрашивая у тени, где она живет и как

ее зовут. И тень отвечала: «Я тень, и мое жилище вблизи катакомб Птолемаиды, подле мрачных адских равнин, смежных с нечистым каналом Харона». И тогда мы семеро вздрогнули от ужаса на наших ложах и вскочили дрожа, трепеща, цепенея от страха, ибо звук голоса тени не был звуком одного существа, но множества существ, и, изменяясь от слога к слогу, глухо раздавался в наших ушах, напоминая знакомые и родные голоса многих тысяч почивших друзей.

1835

Молчание

Басня

????????? ?'????? ???????? ?? ??? ??????????

??????? ?? ??? ??????????.

Горные вершины дремлют; долины, скалы и пещеры молчат.

Алкман

– Слушай меня, – сказал Дьявол, положив руку мне на голову. – Страна, о которой я говорю, пустынная область в Ливии, вдоль берегов реки Заиры. И там нет ни покоя, ни молчания.

Воды реки шафранового нездорового цвета и не текут в море, но вечно трепещут под огненным оком солнца в беспокойном и судорожном движении. На много миль по обе стороны илистого речного ложа раскинулась бледная пустыня гигантских водяных лилий. Они вздыхают в этой пустыне, вытягивая к небу свои длинные призрачные шеи и покачивая неумиряющими главами. Неясный шепот слышится среди них, подобный ропоту подземных вод. И они обмениваются вздохами.

Но есть и граница их царству – дремучий, страшный, высокий лес. Там, как волны вокруг Гебридских островов, вечно колышутся низкие кусты. Но там нет ветра в небесах. И громадные первобытные деревья вечно раскачиваются с грозным скрипом и гулом. И с вершин их сочится капля за каплей вечная роса. И у корней их переплетаются в тревожном сне странные ядовитые цветы. И в высоте с шумом и свистом несутся на запад серые тучи, низвергаясь водопадом по огненному своду горизонта. Но там нет ветра в небесах. И на берегах реки Заиры нет ни покоя, ни молчания.

Была ночь, и шел дождь; и, падая, он оставался дождем, но, упав, становился кровью. И я стоял в трясине среди белых лилий, и дождь падал на мою голову, и лилии обменивались вздохами в безотрадном величии своего отчаяния.

И вдруг поднялась луна в тонком призрачном тумане, и цвет ее был багровый. И взгляд мой упал на высокую серую скалу, стоявшую на берегу реки и озаренную лунным светом. И скала была серая, и прозрачная, и огромная – и скала была серая. На челе ее были вырезаны буквы – и я прошел по трясине, достиг берега реки, и остановился под скалою, чтобы прочесть надпись на камне. Но я не мог разобрать надписи. И я хотел вернуться в болото, но луна вспыхнула ярким багрянцем, и я обернулся, и снова взглянул на скалу и на надпись, – и надпись была: отчаяние.

И я взглянул вверх, и увидел человека на вершине скалы, и спрятался среди водяных лилий, чтобы наблюдать за ним. И был он высок и строен, и от шеи до пят закутан в тогу Древнего Рима. И черты лица его были неясны, но были они чертами божественными, потому что покров ночи и тумана, и луны, и росы не мог скрыть черты лица его. И лоб его был высок и запечатлен мыслью, и глаза его полны тревоги; и в немногих морщинах на его лице прочел я повесть скорби, и усталости, и отвращения к человечеству, и жажды уединения.

И человек сидел на скале, опустив голову на руку, и смотрел на картину безотрадного. Он взглянул вниз на беспокойные кустарники, и вверх на громадные первобытные деревья, и еще выше, на шумное небо и багровую луну. А я лежал под покровом лилий и следил за движениями человека. И человек дрожал в одиночестве, но ночь убывала, а он все сидел на скале.

И человек отвратил свой взор от неба и взглянул на мрачную реку Заиру, и на ее желтые зловещие воды, и на бледные легионы водяных лилий. И человек прислушивался ко вздохам водяных лилий и к их тихому ропоту. А я лежал в

своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я ушел в глубину болот, и прошел сквозь чащу лилий, и созвал гиппопотамов, которые жили в трясинах, в глубине болот. И гиппопотамы услышали мой зов, и явились к подножию скалы, и громко и страшно ревели при лунном свете. А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я проклял стихии проклятием смятения; и страшная буря разразилась в небесах, где раньше не было ветра. И небеса почернели от бешенства бури, и дождь хлестал человека, и воды речные вышли из берегов, и река запенилась, возмущенная бурей, и водяные лилии стонали на своем ложе, и лес трещал под напором ветра, и гремел гром, и сверкала молния, и скала тряслась до самого основания.

А я лежал в своем убежище и следил за действиями человека. И человек дрожал в одиночестве; но ночь убывала, а он все сидел на скале.

Тогда я пришел в бешенство и проклял реку, и лилии, и ветер, и лес, и небо, и гром, и вздохи водяных лилий, – проклял их проклятием молчания. И стали они прокляты, и умолкли. И луна перестала пробираться по небу, и раскаты грома замерли, и молния угасла, и облака повисли недвижимо, и воды, вернувшись в свое ложе, остановились, и деревья не колыхались более, и лилии не вздыхали, и не слышно было их ропота, и ни тени звука не раздавалось в широкой, беспредельной пустыне. И я взглянул на надпись на скале, и она изменилась, и была эта надпись: молчание.

И взоры мои упали на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он быстро приподнял голову, и выпрямился на скале, и прислушался. Но ни единого звука не слышно было в беспредельной пустыне, и надпись на скале была: молчание. И человек содрогнулся, и отвратил лицо свое, и убежал прочь так поспешно, что я никогда не видал его более.

* * *

Да, много прекрасных сказок в книгах, написанных Магами, в окованных железом печальных книгах, написанных Магами. Там, говорю я, есть чудные истории о Небе, и о Земле, и о могучем море, и о Гениях, правящих морем и землю и высоким небом. И много было мудрости в изречениях сивилл; и святые, святые тайны слышала древность в трепете листьев вокруг Додоны, но, клянусь Аллахом, сказку, рассказанную мне Дьяволом, когда он сидел со мною в тени гробницы, я считаю чудеснейшей из всех. И, окончив свою сказку, Дьявол откинулся в углубление гробницы и засмеялся. И я не мог смеяться вместе с Дьяволом, и он проклял меня за то, что я не мог смеяться. И рысь, которая всегда живет в гробнице, вышла оттуда, и легла у ног Дьявола, и смотрела ему в очи.

1837

Вильям Вильсон

Что мне сказать?

Что говорит грозная совесть – это привидение на моем пути?

Чемберлен. «Фаронида»

Позвольте мне называть себя Вильямом Вильсоном. Чистая страница, лежащая передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем. Оно уже достаточно долго было предметом гнева, ужаса, отвращения моих ближних. Разве не разнес ветер негодования этот беспримерный позор из края в край земли? О отверженный из отверженных, не умер ли ты навсегда для земли, для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых надежд, и не повисла ли густая, мрачная, безгранная туча между твоими надеждами и небом?

Я не стал бы, если бы даже мог, излагать здесь, теперь, историю моих последних лет – моих несказанных бедствий и непростительных преступлений. Эта эпоха – последние годы моей жизни – была только завершением позора, начало и происхождение которого я намерен описать. Люди обыкновенно падают со

ступеньки на ступеньку все ниже. С меня же всякая добродетель упала сразу, как платье с плеч. От простой испорченности я одним гигантским шагом перешел к чудовищности Элагабала. Какое обстоятельство, какое событие послужило толчком к этому несчастью – об этом я и хочу рассказать. Смерть приближается, ее тень умягчает мою душу. Готовясь перейти в долину сумрака, я жажду сочувствия – чуть не сказал, сожаления – моих ближних. Я желал бы убедить их, что был до известной степени рабом обстоятельств, не лежащих в пределах человеческой власти. Я желал бы, чтобы люди усмотрели в тех мелочах, о которых я сейчас расскажу, маленький оазис фатальности

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

По правде (лат.). – Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, примеч. редактора.

2

И дорога страстей ведет меня к истинной философии (франц.).

3

Западным ветром (франц.).

4

Будуаре, кабинете (франц.).

5

Любовных записок (франц.).

6

Подобно Каталани (франц.). Подразумевается Анжелика Каталани (1780–1849), выдающаяся итальянская оперная певица.

7

Музыкально-танцевальная форма в балете.

8

Погибает от слабого дуновения (лат.).

9

Известной добродетели (лат.).

10

Tenera res in feminis fama pudicitiae, et quasi fl os pulcherrimus, cito ad levem marcessit auram, levique fl atu corrumpitur, maxime etc. – Hieronymus ad Salvinam (Деликатная вещь – добрая слава женщин, и, как прекраснейший цветок, вянет от легкого ветра, от легкого дуновения портится. – Иероним к Сальвиану). – Примеч. переводчика.

11

И так далее, и так далее, и так далее (лат.).

12

У каждого свои добродетели. – Кребийон. «Ксеркс» (франц.). – Примеч. переводчика.

13

В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», акт III, сцена 3. Перевод К. Бальмонта.

14

Камердинеров (франц.).

15

Обезьяна (греч.).

16

Флавий Вописк говорит, что гимн, здесь приведенный, пела чернь в честь Аврелиана, во время Сарматской войны, убившего собственноручно девятьсот пятьдесят врагов. – Примеч. автора.

17

Автор перечисляет названия газет и журналов: «Ежеквартальный», «Вестминстер», «Иностраннный», «Эдинбург», «Дублин», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд».

18

Изысканные люди (франц.).

19

Роше де Канкаль – известный французский ресторан. Далее перечислены французские названия разных блюд.

20

Дьявол (итал.).

21

Храни Господь (исп.).

22

Тысяча громов (франц.).

23

Тысяча чертей (нем.).

24

Гром и молния (нем.).

25

Скотина (франц.).

26

Моста Вздохов (итал.).

27

Расстроенным (франц.).

28

Гротеске (франц.).

29

«Абсурдности» (1519) – сочинение французского гуманиста Равизия Текстора (ок. 1480–1524).

30

Смех (греч.).

31

Камердинера (франц. и англ.).

32

Шедевров (франц.).

33

Нет у лучшего художника такого замысла, которого бы не скрывал в себе сам мрамор. - Примеч. переводчика.

34

Речь идет о трагедии Джорджа Чепмена (1559[?]-1634) под названием «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607), посвященной интригам при дворе Генриха III.

Купити: https://tellnovel.me/po_edgar-allan/maska-krasnoy-smerti

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)